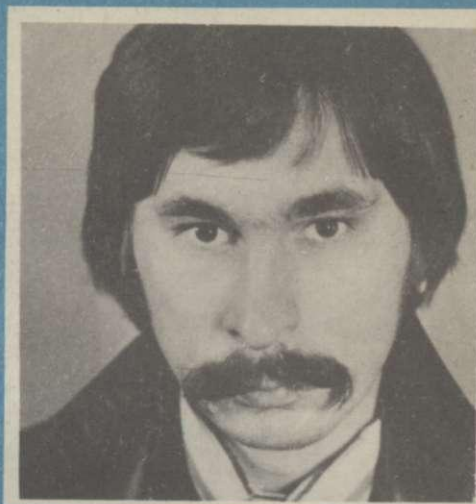


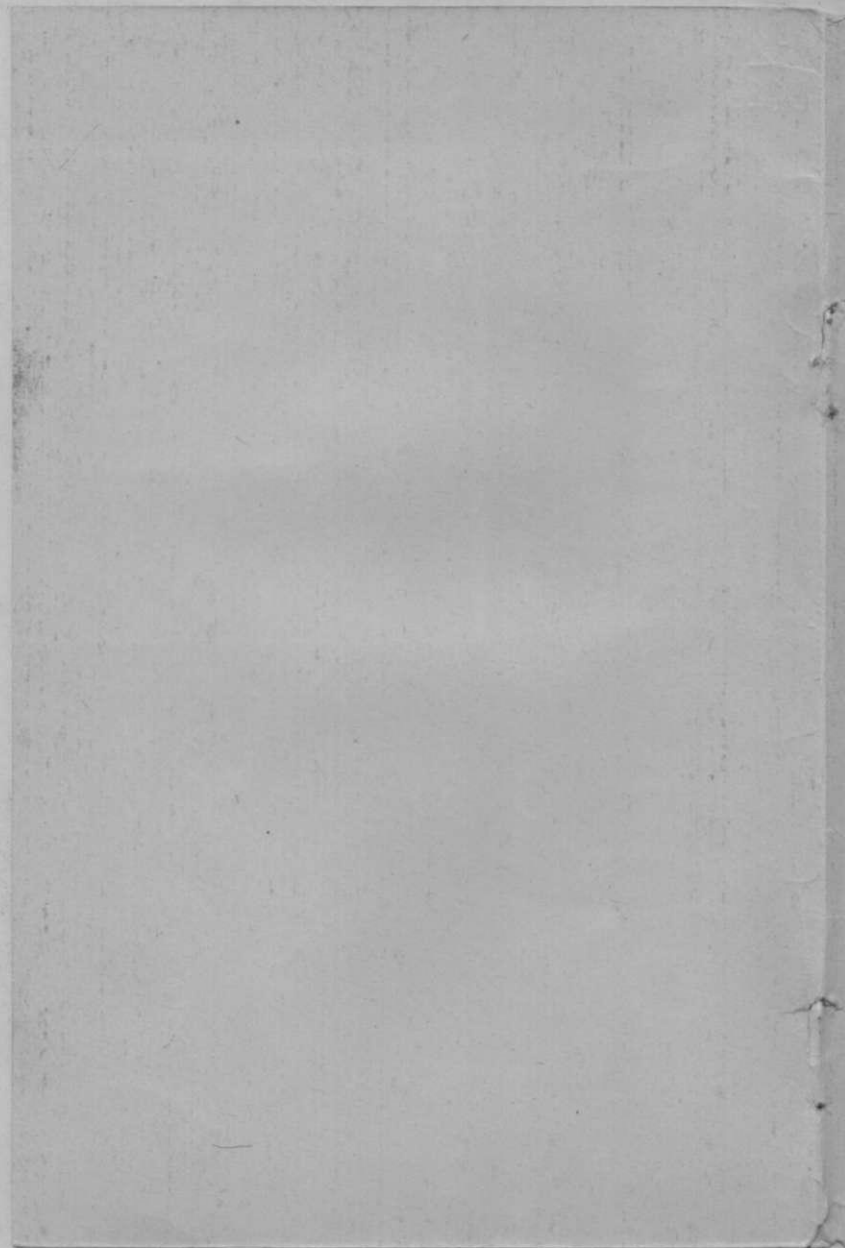
P2
K29

Синие ставни



Александр
КАТКОВ





P2
K29



Александр
КАТКОВ

◆
СИНИЕ
СТАВНИ

СТИХИ

22331

97
86
15
08

Кемеровское
книжное издательство
1985

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Библиотека
г. Алейск, Кузнецк

Ш/КОИ 8368 90
ЭК

ББК 84.3Р7
К-29

Рецензент В. Ф. Матвеев

Катков А. И.

К29 Синие ставни: Стихи / в кассете «Первый горизонт». Вступ. слово В. Матвеева. — Кемеровское кн. изд-во, 1985. — 64 с.

20 к. 4 000 экз.

А. Катков родился в Ставрополе, окончил Лейпцигский университет имени К. Маркса, работал переводчиком, служил в Советской Армии, преподавал языки в вузах, впервые опубликовался в ставропольской областной молодежной газете, затем в альманахе «Огни Кузбасса», в журнале «Сибирские огни», в коллективном сборнике «Утро» (изд-во «Современник», 1983 г.), живет в Кемерове.

«Синие ставни» — его первый поэтический сборник.

К 4702010200—23 85
М 145(03)—85

ББК 84.3Р7

© Кемеровское книжное издательство, 1985

С ДУМОЙ ОБ ОБЩЕМ ДОМЕ

На очередном занятии Кемеровского молодежного творческого объединения «Притомье», где, перед тем как вынести на суд товарищей свои поэтические опыты, по традиции принято коротко рассказывать о себе, о своих поисках и сомнениях, меня заинтересовали сначала не сами стихи, а неординарность биографии их автора, точнее один из фактов биографии. Я узнал, что Александр Катков, проучившись два года в институте иностранных языков в Пятигорске, несколько лет жил в Лейпциге, учился в университете имени Карла Маркса, куда был направлен Министерством высшего образования СССР.

Выпускник «заморского» учебного заведения вовсе не собирался «kozyрять» внушительной эрудицией, больше того, он робел, волновался, читая дорогие его сердцу строки и одновременно читая по лицам присутствующих, какое впечатление производит на них его небольшая рукопись — плод напряженных раздумий последних лет.

Лучшие вещи были поняты и приняты, хотя не обошлось, конечно, и без критических замечаний, доброжелательных реплик, советов «учиться у признанных мастеров». Стало ясно, что специалист по немецкому языку «не разучился» владеть русским, намерен распорядиться им по-хозяйски, чтобы правдиво и образно выразить то сокровенное, заветное, что пережито за эти годы.

Признаться, тогда Александр Катков приятно обманул мои ожидания. Настроившись на «иностранную» тематику, на переводы, вдруг я услышал лирические откровения, связанные совсем с иной памятью; о детстве, об отчем доме, о родителях, об отроческой любви, о такой, казалось, далекой и такой близкой деревне Зайцево Ставропольского края, где Саше довелось родиться, испытать первые радости и беды.

В обостренно-исповедальных стихах о малой Родине угадывалось желание как можно честней, откровенней, нежней выразить огромную сыновью благодарность незабвенному краю, учившему его доброте и мужеству, справедливости и красоте, напугавшему в большую и грудную жизнь: «Были бы живы мать и отец. Все остальное потом образуется...», «Как я приеду и что я скажу маме моей, поседевшей до срока...», «...милая Отчизна вместила вся в родимый дом», «Я больше смерти страшусь увидеть заколоченный отчий дом»...

Кажущиеся повторы мыслей, задушевных всплесков я расценил как авторскую неудовлетворенность написанным, как поиск тех единственных слов, которые бы сполна воплотили главный замысел, равный самой жизни. А это значит, что самая удивительная песня еще впереди и поэтические тропинки к ней протоптаны.

Расставания и расстояния — экзамен на человеческую сущность, проверка того, насколько прочна твоя привязанность к отчим местам. Вдали от них как бы обостряется внутреннее зрение, через такие простые и привычные картины не столь древнего прошлого начинаешь уяснять сложные перипетии сегодняшнего и даже завтрашнего дня:

Сердце мое, все в неясном «потом»
мы с тобой вышесем, вытерпим, выдюжим,
лишь бы нам знать, что не брошен, не выстужен
сердцем прогретый родительский дом.

В стихах о детстве, юности, о милом крае поэт меньше всего похож на благодушно настроенного человека, занятого приятными воспоминаниями.

Там, где прошла война, не до безмятежных мудрствований. Там налицо трагическая судьба деревенского мальчишки, побывавшего под фашистским танком и чудом уцелевшего («Коля-Лимба»). Там слезы девочки, которую дразнит оккупант («Война»). Там солдаты «уснули, похоронив с собою пули, не долетевшие до нас» («Гост-реквием»).

В этой первой книжке нашего автора, возможно, какие-то строфы покажутся читателю неровными, спорными, но это издержки роста, дерзания, обретения опыта. Перед нами не «зеленый» новичок, а во многом умелый литератор с определенным жизненным и творческим багажом, с четкой гражданской позицией. Он близко к сердцу воспринимает происходящие в мире события, пишет о них взволнованно, убедительно, с позиций интернационалиста.

Имею в виду, прежде всего, лирико-публицистический цикл «Колокол Чили» с подзаголовком «Хроника чилийской революции», фрагменты из этого своеобразного репортажа в стихах публиковались ранее в альманахе «Огни Кузбасса» и вызвали одобрительные читательские отзывы.

Хроника, как ей и подобает, насыщена конкретными фактами, художественно переосмысленными автором. Сальвадор Альенде, Виктор Хара, Пабло Неруда, тысячи чилийских патриотов, погибших от рук Пиночета и его хунты, зовут оставшихся в живых к возмездию, к борьбе за торжество свободы и демократии. Это не «дежурные» стихи, а вполне добротная публицистика, не утратившая и по сей день злободневности и свежести звучания.

Известное представление о творчестве Александра Каткова всесоюзный любитель поэзии получил еще в 1983 году, когда в издательстве «Современник» в серии

«Молодые современники» вышел коллективный сборник с символическим названием «Утро».

За утром, как водится, следует полдень. Пусть же он будет для моего товарища и собрата по перу солнечным и плодотворным.

Владимир Матвеев

* * *

Были бы живы мать и отец.
Все остальное потом образуется,
где-нибудь, как-нибудь
да образумится
женщина,
жизнь,
строка наконец!

Сердце мое, все в неясном «потом»
мы с тобой вынесем,
вытерпим,
выдюжим,
лишь бы нам знать, что не брошен,
не выстужен
солнцем прогретый родительский дом.

* * *

Как я приеду и что я скажу
маме моей, поседевшей до срока?
Что виноватить врагов и дорогу,
женщину эту, с которой дружу?

Глухой синицей хотел подпалить
море печали. Но где же победа?
Солнце встает. И пока я не еду,
жизнь убывает и совесть болит.

* * *

На безымянных полустанках,
в столицах нескольких держав
во мне светло и неустанно
мой голос бился и дрожал.

Но из моей бездомной жизни
доплыть никак не мог паром
туда, где милая отчизна
вместилась вся в родимый дом.

Я так боялся, что исчезну,
что затеряюсь на пиру
и мои трепетные песни
со мной, исчезнувшим, умрут.

А мать с отцом к калитке выйдут
и вздох послышится из тьмы:
«Ну что-то нашего не видно...
Хотя б вернулся до зимы...»

* * *

Это родина — синие ставни,
это родина — ивы внаклон,
над которыми сирыми стаями
птицы тянутся в небосклон.

Было вдоволь и песен, и хлеба,
жизнь взахлеб и беда по плечу.
Но под этим единственным небом
я от родины мало хочу.

Я хочу, чтоб земля не скудела,
от которой и песня и хлеб,
чтобы, делая нужное дело,
не оглох я и не ослеп.

Я хочу, чтоб река не мелела,
чтоб пьянил и дурманил чабрец,
чтобы мама моя не болела
и чтоб сильным остался отец.

* * *

Где это время? Никто не ответит,
все поросло чабрецом и бэльем.
Но просыпаюсь опять семилетним:
в комнате глаженным пахнет бэльем.

И задыхаюсь от слез: неужели
снова июнь, мое детство и дом,
запах бэлья и хрустальные трели
птаха развесила за окном?

Нет ничего, кроме этого пенья
и подоконника в каплях росы.
Как далеко еще до ослепленья
от незаслуженной взрослой слезы!

Не доведи до чернейшего сраму,
жизнь моя, если в начале твоём
так еще чисто, песенно, рано,
если поглаженным пахнет бэльем.

Было и будет бессонниц немало —
пусть в изголовье незримо стоят
юный отец в гимнастерке линиялой
и кареглазая мама моя.

* * *

Ночами незваных бессонниц
в протяжной, как зов, тишине
звездою, упавшей в колодезь,
горит моя лампа в окне.

А где-то, за тысячу далее,
есть дом самых чистых сердец.
В нем так натрудились, устали
заснувшие мать и отец.

Там ночь навалилась на крышу
и нет ни звезды, ни огня.
Я сны их отчетливо вижу,
в которых жалеют меня.

Родители, руки России!..
Стихи мои, с вами зачем
как с писаной торбой носился,
а им не помог я ничем?

Пока я выматывал жилы,
про землю родную трубил,
они на земле этой жили,
ни сил не жалея, ни жил.

Так вот она — память. И совесть.
И значит все верно со мной.
И нет справедливей бессонниц,
чем те, что стоят за спиной.

* * *

Прямо в сад выбегали ступени,
было их ровно пять у крыльца.
И под запах дождя и сирени
я разбужен был песнью скворца.

В ожиданье восторга и счастья,
доверяя скворцу,
наугад
окна — настезь и сердце — настезь,
пять
шагов,
пять
ступенек
и — в сад!

А в саду в деревьях ликование!
Горлопан, менестрель, этот спец,
в полубморочном состоянье
заходилса от счастья скворец!

И прохладу июньского сада
ощущая кожей всей,
я бежал до дальней ограды,
с головы и до пяток в росе.

И представить мне было так трудно,
что бессмертья и вечности нет.
Просто было июньское утро
и мне было одиннадцать лет.

* * *

Жизнь моя — та же, и голос мой — тот же,
так же любим и отчиной храним.
Но с каждым годом все тоньше и тоньше
светлая ниточка с детством моим.

Неужто мама с отцом исчезнут?!
Сердце, храни теплый свет их седин!
Много ли проку будет от песен,
если на свете останусь один?!

Что мне до жизни: «выйдет — не выйдет?»,
что мне веселая слава потом?
Я больше смерти страшусь увидеть
заключенным
отчий
дом.

* * *

Самолет выпускает шасси.
Вот и все. Я на родине снова.
В эту даль изо всех моих сил
рвался я ради звонкого слова,

соловьинного слова любви,
пониманья, прозренья и муки.
И Судьбу, словно Спас-на-Крови.
я построил ценою разлуки.

Кто меня над землю носил —
дух вселенского зла или гений?
И судьба, выпуская шасси,
даровала у края мгновенье.

Но теперь — торможенье колес
по траве между плит из бетона.
Не хватает дыханья и слез...
Вот и все. Я на родине. Дома.

МАМА

Самолетом пять тыщ километров,
потом — автобусом три часа,
потом — из объятий дурманного лета
к маминым милым глазам!

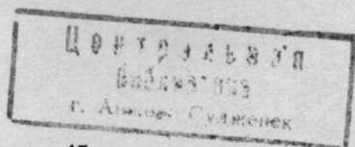
И позабыв все слова приветные,
приготовленные слова,
выдохнуть: «Моя добрая... светлая...
...Жива...»

ДОМА

Ночь какая! Нет спасенья
в предрассветный звездный час!
Словно новым, свежим зреньем
я увидел в первый раз:

это детство в небе светится
и, ликуя высоко,
из ковша Большой Медведицы
пьет парное молоко.

22331



НОЧЬЮ НА РОДИНЕ

В окнах свет серебристо-серый —
телевизоры включены.
Смотрит хутор вторую серию,
все гармони обречены.

Выйду в сад. Свет луны неистов,
он багряный и золотой.
В освещенных упругих листьях
ветер плещется молодой.

Это ж надо — так много света!
Проливается он и дрожит,
хоть читай деревьям газету
или письма любимой пиши.

А во дворике тени четкие
от колодца и от бадьи.
Цепь, свисая с бадьи как четки,
Оттеняет колечки свои.

Вот какое на свете место.
Что другие где-то края?!
Не проездом я, не проездом.
Это родина здесь моя.

* * *

Я ставни опять не запру на крючок
и лампу гореть до рассвета оставлю.
Пусть знает в траве безумный сверчок,
что он не один распеваает за ставней.

В такие-то ночи неслыханный грех
в любви не признаться всему мирозданию.
Давай же, сверчок, поликуем за тех,
кого обнимают за крашеной ставней.

Призвание наше — цикады и стих,
спасение наше — рассвет и усталость.
Мы только потом пожалеем других
за то, что такая им ночь не досталась.

* * *

Ставень скрипит на ветру,
и до рассвета далёко.
Но возвестит поутру
снова в распахнутость окон
птица шальная в бору,
что в эту злую простуду
я никогда не умру,
если тебя не забуду.

* * *

...Еще не весна, но карнизы набухли
и скоро мой птах припадет, как к груди,
к застрехам отчизны, горласт и обуглен
тропическим солнцем, отставшим в пути.

И небо предстанет, как прежде — бездонным,
и будет сквозь сон различать нелегко:
капель распекает иль в мамин подойник
упруго сбегается молоко.

СТАРИКИ

Все глуше, все короче
их горести и дни.
Но не случайно ночью
проснутся вдруг они,

чтоб, больше от испуга
и меньше от причуды,
к дыханию друг друга
прислушиваться чутко...

ХОДИКИ

Памяти бабки моей
Феодосьи Федоровны

Говорила: «Ну что вы все ходите
мимо окон, проезжий чудака?»
А в простенке перечили ходики:
«Может—он? может—твой? может—так?»

А потом они так отмеряли,
Феодосья, свиданья твои,
что и сами с тобой замирали
в ночи, полные бабьей любви.

Как же время жестоко бежало
под размеренную тишину!
Ты готовила, шила, рожала,
провожала его на войну.

В ожиданье грядущей печали
заржавел голубой циферблат.
В сорок пятом все лето стояли —
это он не вернулся назад.

И, казалось, истошному крику
всю себя до конца отдала.
Но потом ты подправила гирьку,
стрелки правильно подвела.

Поднимала себя и сына,
и на внуков хватило сил,
у которых теперь над камином
электрические часы.

Нет тебя. Только крест над холмиком
на погосте, среди тополей.
Но не крест — я поставил бы ходики,
словно памятник жизни твоей.

КОЛЯ-ЛИМБА

С каждым встречным в деревне знаком.
Подавая дрожащую руку,
ходит он дурак дураком,
знаменитый на всю округу.

Помутненья больной арестант,
был и он на земле семилетним,
но под драпающий «фердинанд»
он попал по зиме в сорок третьем.

Он остался меж гусениц цел,
и с тех пор сорок мирных июней
он, войны несмышленная цель,
распускает от радости слюни.

Коля-Лимба, ну спой «Камыши»!
И тотчас же, на полном серьезе
Коля-Лимба поет от души,
растирая чистейшие слезы.

Он, свидетель неслыханных драм,
с каждым годом все больше седея,
ходит эхом войны по дворам,
где его осторожно жалеют.

ОТРОЧЕСТВО

Ты скажешь: «Милый, как давно!»
Но к жизни ключик подбирая,
скажу тебе: «Не я виной,
что где-то музыка играет».

За то, что это не с тобой,
я внес уже двойную лепту.
Но память крутит киноленту
с названием «Первая любовь».

И в той дали и в том кино
луна над крышею свисает
и в клубе музыка играет
с названием чудным «Домино».

Там отрочества мир высок
и смел, как сорок оборванцев.
Но подойти — избави бог,
не пригласить тебя на танцы!

Ты с тем пойдешь, кто посмелей,
а я сбегу от наважденья
и лунной тенью тополей
свое прикрою отступленья,

на сене буду засыпать,
и слышать музыку из клуба,
и нецелованные губы
во сне я буду целовать.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОХОРОНЫ

На десять деревень окрест,
за теми, кто покуда живы,
стонал рыдающий оркестр
и спотыкаясь, и фальшивя.

Старуха Дарья умерла.
Соседи свадьбу отменили.
И вот почти что полсела
пришло к разверзнутой могиле.

Молчали все — и стар, и мал,
и каждый с горечью подспудной
себя к той жизни примерял,
где солнца нет, но так же людно.

А, впрочем, нет! Не к жизни той
и даже не к подобью жизни,
а к той черте пред темнотой,
что остается после тризы,

когда отринут свет и дом
и выщелк птицы безмятежной,
а музыканты под хмельком
к машине медь несут небрежно.

ТОСТ-РЕКВИЕМ

За тех, которые уснули
с застывшей ненавистью глаз,
похоронив с собою пули,
не долетевшие до нас.

ВОЙНА

В станице Советской фашист опьяневший
галету протягивал, но не давал
девочке, больше суток не евшей,
и вскидывал «шмайссер», но не стрелял.

Сказать справедливости ради важно:
его под Моздоком пуля нашла.
Но мне до сих пор неприютно и страшно —
той девочкой мама моя была.

* * *

Какая горечь — постоять
у кромки поля и разлуки
и, замерев, не простирать
к простору зябнущие руки.

Над полем свист! И дрожь берет...
Какие ветры над полями!
И не понять — который год
в календаре отмечен нами.

Людским страданиям нет конца
и нет пришествия второго.
Но наши русские сердца
вместили поле Куликово,

Полтаву и Бородино
и Поле, ставшее безвестным.
Но в каждом сердце все равно
для Поля оставалось место.

А времена смертоубийств
не канули, однако, в Лету.
И холодящий душу свист
напоминает мне об этом.

Поля осенние мои!
Моя Россия молодая!
Я слезы горя и любви
с октябрьским воздухом глотаю...

БЕРЕГИНЯ

Когда княжна Ярославна
рыдала по нем — не по мне,
я пал вместе с ним, но прославил
женщину на стене,
рыдавшую, мир отринув,
руки свои заломив.
Она — была Берегиней,
а что для неё был мир?

И позже, когда уже мало
останется дней, пойму —
родина есть и мама,
и я не уйди во тьму.

А женщина, что богиней
меня в свой дом привела?
Весталкою, Берегиней
недолго, да побыла.

Что бы там ни было — ладно!
Пока есть родная речь,
с этой бедою слажу, —
было б кому беречь.

Я не из тех, кто бранили,
смешав и хулу и лесть.
Россия,
 моя Берегиня,
спасибо за то, что ты есть.

* * *

Это — осень горит, словно шапка на воре,
догорает последний березовый лист.
Это значит, что снова октябрь в фаворе,
если носится в поле разбойничий свист.

Значит, скоро закружатся белые мухи
и над полем продутом и березняком.
Но и все же спасибо за беды и муки:
мне ли, жизнь, на тебя обижаться тайком?

Пусть однажды свихнусь от вселенской печали
и сорвусь, и сгорю, как последний листок.
Ничего. Это время летит по спирали,
значит это и мой завершился виток.

* * *

Какая бескрайняя воля!
Не мучай себя, не неволь.
Тебе было надобно боли?
Так вот она — главная боль,

где небо уже безутешно,
хотя только завтра отлет.
И звук обреченный, нездешний
плывет над тобой и плывет,

как будто в слезах и смятенье
лицо повернув на закат,
проводит печальную тему
на скрипке своей музыкант...

РОЩА В НОЯБРЕ

Продуто, горестно в душе...
И меж ветвями, меж годами
лист на последнем вираже
еще кружит, не опадая.

И мир, продутый до краев,
гудит по-прежнему от ветра.
И запоздалая любовь
Не дождалась еще ответа.

* * *

Озеро стояло вертикально,
зеркалом, в котором ты была.
Все прошло. Но ответ inferнальный
в моем доме снится зеркалам.

Как Раскольников на место преступления,
к озеру вернусь и заглянусь
в карие твои исчезновенья
и в свою нахлынувшую грусть.

Мы плутали. Мы кляли усталость.
Жизнь кончалась гнусом и тайгой.
Но внезапно озеро являлось
всею гладью, звонкой и тугой!

Ты входила гибко и упруго,
и я видел с берега, что вы
дополняли с озером друг друга,
две волны, два света, две молвы.

Мне казалось это нереальным,
но ты выходила — и
озеро стояло вертикально,
отжимая волосы свои!

Годы проходили. Мы расстались.
И венецианское стекло
я разбил. Но озеро осталось.
До сих пор на памяти светло.

* * *

Я поставил тебя, как икону,
выше совести, выше звезды.
Но в ответ из просторов бездонных
рассмеялась презрительно ты.

Я трубою составил ладони,
закричал в небеса, что есть сил.
Но с небес старичок обозленный
мне в ответ кулаком погрозил.

И тогда я собрал свои силы
и низвергнул тебя с высоты!
Но успела сказать мне «Мой милый...»
в бездну падающая ты.

* * *

Я развеял над миром, как пепел,
незабвенное имя твое,
чтоб мои ставропольские степи
поросли чабрецом и быльем.

Как я праздновал — с плясом и с песней!
Содрогался от ужаса дом.
Было гордости больше иль спеси
в отречение поспешном моем?

Я-то думал: ты сгинешь во мраке
по прошествии стольких-то лет
и спросонья залают собаки
на жасминовый чудный твой след.

Вот и канули первые годы.
И, над жизнью подранком трубя,
так теперь ненавижу свободу,
как тогда ненавидел тебя.

* * *

Закреть глаза — и в сон, и в сад,
туда, где вишен белых кущи
через мгновенье облетят,
лишь только ты подаришь губы.

Там поутру кусты стоят
в росе с сиреневым отливом,
там был бездумно-юным я,
не понимая, что... счастливым.

* * *

И локон пепельных волос
и жест небрежный —
все это женщиной звалось,
святой и грешной.

И, забывая грех и срам,
любил и падал,
когда все ночи, по утрам
была наградой.

Казалось — это навсегда,
уже — навечно.
...Но две судьбы, как поезда,
неслись навстречу.

* * *

...И никого... И снег стоит
под небом пепельным и мглистым,
как будто снегу предстоит
решиться снова в путь неблизкий.

Меня впускает этот снег,
как будто все он понимает,
и в две строки пунктирный след
за мной теряется и тает.

И телу не принадлежа,
я растворяюсь в горе белом,
где моя детская душа
в разладе с совестью и телом,

где сны летят сквозь снег и тишь,
меня крылами задевая,
туда, где ты в слезах стоишь,
моей свечи не задувая...

* * *

Какая долгая зима...
Как дни протяжны и безмерны...
Метели дикой кутерьма
уже не кончится, наверно.

Кто там шаманит у окна?
К кому пожаловали бесы?
И даже дальняя луна
от вьюги спряталась за лесом.

И даже дом пустынный мой
дрожит промерзшею фрамугой,
в котором долгою зимой
я жду любимую и друга.

КРУГ

О, ангел залгавшийся! Сразу бы! Сразу б...

Б. Пастернак

1

Ничего тебе не зачтется,
ни слова твои, ни дела,
эта боль, что по краю вела,
не поднимется, не извлечется —
будешь жить, как и раньше жила.

И когда наша боль отзовется
не кому-то другому, а мне —
по чужой, безответной вине, —
все припомнится, все зачтется
и запишется в судном дне.

И за то, что я принял вериги,
принял боли позорный престол,
что, хрипя под судьбою как вол,
я не вел канцелярские книги
и обидам подсчета не вел, —

вот за всё это в наказанье
в обманувшей закатной судьбе
на признанья в бездумной гульбе
ты посмотришь моими глазами
и не будет спасенья тебе.

Я отдал утренние годы,
но что же получил взамен?
Как полюбить свою свободу,
когда в ненастную погоду
я жду с надеждой перемен?

И не гляжу на жизнь с упреком,
как листья, даты вороша.
Жизнь не окончилась до срока,
но почему ж с ее уроком
не соглашается душа?

Быть может, многого хотелось,
гораздо больше, чем имел?
Куда же это время делось,
когда мне так чистейше пелось,
а я еще не так умел?!

Но в листопаде, в горьком дыме
я вспомню всем обвалом чувств:
какими были молодыми!
И вот тогда, забыв гордыню,
твоей пропажи спохвачусь.

Милая, как мне тебя не хватает...
В сырых аллеях, где лист отрешенно витает,
в залах вокзальных, где ночи без сна
коротают,
там, где зеваки праздно за руку хватают,
мне не хватает, мне очень тебя не хватает.

Всю эту жизнь я тебя забываю
в смертном и невосполнимом долгу.

С женщиной чуждой казнюсь, но все же бываю,
и уезжаю в промерзших полночных трамваях,
и мое сердце, как пломбу стоп-крана, срываю —
так забываю и все же забыть не могу.

Кто ты такая? Ну кто ты такая?!
Я разбазарил стихи и признанья свои...
Я понимаю, я эту вину принимаю,
как я краду, как тебя на виду обнимаю,
словно тем самым от черной беды отнимаю
и не могу догрести, не могу докричать
до любви...

4

Ну что же, давай подытожим:
полжизни прожито, дружок.
Давай же ей руку предложим
и вальс обещанья продолжим
под дивный и чудный рожок.

А мир — он как прежде прекрасен,
и рано идти на разрыв,
когда у природы ненастной
еще остается в запасе
берущий за душу мотив.

И пусть деревья облетают,
есть утро надежды, мой друг,
когда через силу сплетают
объятья, и слезы глотают,
но все же выходят на круг.

* * *

Промываются окна в домах деревянных...
Это март на земле.

Промываются окна.

Я забрел на окраину, светлый и пьяный,
и пишу о тебе, под капелью промокнув.
Я гортань полощу строкой молодою,
я и сам, словно март, независим и молод!
Обхожу эти тазики, ведра с водою
и влюбляюсь в прохожих и в мартовский город!
Я люблю этих женщин у окон открытых,
этих мартовских золушек,

всех до единой!

Их глаза, словно окна, капелью промыты,
и скольжение рук их плавней лебединых!
И в три пальца свищу соловьем обалделым
посредине весны изо всей моей силы.
Я люблю этот день!

И какое мне дело,
что любимая где-то меня разлюбила?!
Я влюблюсь при честном и весеннем народе,
среди прохожих посею роптанье и смуту!
Но счастливая женщина прядку отводит,
и вослед не глядит,

и смеется чему-то...

ВОСПОМИНАНИЕ О ТВЕРИ

Профессору Б. М. Балину

В ботинках, подаренных Вами,
я вышагал строки о том,
что город в звоночках трамваев
мне был как обитель и дом.
В старинном купеческом городе
с церквушкою на берегу
я был независим и голоден,
встречая беду на бегу.
А чайки над Волгой метались,
чуть-чуть — и заденут плечо.
О чем мне в то время мечталось?
Да разве расскажешь — о чем?!
Я часто ходил к парапету,
носил неоплаченный долг
к чугунной фигуре Поэта
с земными цветами у ног.
И сам себе после пирушки
казался я суетен, мал,
когда надо мною Пушкин
в чугунной накидке стоял.
Я, знающий каторгу слова,
ночные позор, торжество,
завидовал снова и снова
раскованной воле его,
как будто незримая ссадина
была нестерпимей всего
и мне, как от Медного Всадника,
хотелось бежать от него!
А город был полон капелью,
и знал я, что у меня
еще девяносто копеек
осталось до судного дня.

* * *

В покаянной и горестной повести
ты потом Расскажи, как попал
под колеса собственной совести,
закачался во мгле и пропал.

И разверзлась твердыня земная,
и туда колымага вошла.
Ты спросил: «Мне куда?»
— «Я не знаю»,—
с высоты отвечала душа.

Ты снегами побрел и песками
до пределов себя и земли.
Днем с огнем тебя люди искали,
да никак отыскать не смогли.

Так и надо тебе, так и надо,
коль желал перепеть соловья.
И не будет кромешнее ада,
чем бессонная совесть твоя.

* * *

Значит, надо пройти через это
одиночество длинных ночей,
чтоб высокое званье поэта
подтвердить всей судьбою своей.

И в свой срок за каким-то поэтом
уходя за глухую межу,
я, быть может, когда-нибудь, где-то,
оглянувшись у входа, скажу:

«Подтверждаю: я звался любимым
самой гордой на этой земле.
Потому и ревели турбины
на косом реактивном крыле.

Я не пасынок этого века —
из глашатаев я и певцов.
Я родился и стал человеком,
что важнее, в конце-то концов.

Меня люди стихам научили,
слава богу, я жил не один.
Свет в окне — это сын мой. И в Чили
сирота — это тоже мой сын.

И пока я дышу и надеюсь,
жизнь ночами безбожно кляня —
никуда я от жизни не денусь,
если жизнь не оставит меня».

СУДЬБА

Потом это станет судьбой:
прощанье с отчизною милой,
ослепшее небо над миром,
как мамин платок голубой.
И поезд — на запад от Бреста,
сначала вокзалы, потом,
оставшись на стройках и фресках,
вся Русь пропадет за холмом.
И юность начнется сначала,
вернее — продолжится вновь,
но с необъяснимой печалью
повенчана станет любовь
к вечерним готическим шпилям,
к домам, как к древнейшим томам,
в которых изысканным штилем
смущали всеведущих дам
и Гете, сдружившийся с чертом,
и Лютер, швырнувший в него
чернильницу с явным расчетом
себя запродать самого,
но главное — утренний Лейпциг,
как праздник душе и уму,
когда ты, свободный от лекций,
спешишь на свиданье к нему,
точнее в бессонную кирху,
где пробует Мастер орган,
который рыданий и криков
пока еще не исторгал.
Ты знаешь: здесь рядом, в неволе,
слит Мастер. О, нет, он не спит!
Как будто на минное поле,

ступая на чопорность плит,
тыходишь с волнением и страхом,
оставив чуть-чуть в стороне
могилу могучего Баха,
не дремлющего в глубине.

Ты знаешь: вот чудо начнется,
и двери сорвутся с петель,
и сердце твое разобьется
в предчувствии страшных потерь,
когда это время растает,
едва прозвенев над тобой,
когда эта музыка станет
провиденьем,

жизнью,

судьбой.

ЛЕЙПЦИГ

Я славлю Лейпциг, маленький Париж..

Гёте. Фауст

Гете сказал, что ты — как Париж.
Я не осмелюсь оспаривать мудрых,
в сердце ношу я немецкое утро,
плывшее над черепицами крыш.

Знаю — твоей не найдется вины
в том, что вдали от российских проталин
в утренней жизни моей три весны
мне не по-русски в окно щебетали.

О, отторженья терновый венок!
Но почему же теперь, почему же
в память смотрю я, как в сильный бинокль,
там, где над кирхами кружатся души,

первая — бедной любимой моей
и, залетевшей русской — вторая?
Если мы что-то бездумно теряем —
это уже до скончания дней.

Русскую песню хочу я сложить,
музыка есть, но все отчего-то
в песне твоя одинокая нота
зыбко, не по-славянски дрожит...

ПУТЬ НА ИТАКУ *

Пусть обнажится

жизни горчайшая суть.

Но чтобы в бессилье от этой беды не заплакать,
я вспомню тогда, что есть

непотерянный путь по сломанной жизни,

по памяти —

путь на Итаку.

На черный мой день я его для себя приберегу,

на черный мой день,

для грядущей однажды печали.

И сколько обманных пройти ни придется дорог,

мой путь на Итаку кончается в раннем начале...

Я жизнь полюбил не за праздник премьерных кулис
и не разлюблю

за случайность и краткость явления.

Я суетно жил. И пусть сбиты до крови колени,

но путь на Итаку всегда выбирает Улисс.

Тот путь к тополям

на осенний багряный пожар,

по листьям сгоревшим —

в распахнутость гулкого дома,

к тропинке среди трав, по которой мальчонкой

бежал

к смеющейся маме,

в ее молодые ладони.

И небо мое никогда не померкнет окрест,

не сгинет душа

в безысходности боли и мрака,

пока я живу на земле

и пока на ней есть

мой путь на Итаку,

спасительный путь на Итаку.

* Итака — остров в составе Ионических островов. В греческом античном эпосе Итака — родина и царство Улисса, который из всех странствий непременно возвращался туда. (Прим. авт.).

* * *

Надо, чтоб что-то осталось —
надежда,

строка,

сын.

А смерть — это суцая малость,
когда на земле не один.

Надо и в будни и в праздник
верить,

сгорая дотла,

что жизнь не была напрасной,
а утреннюю была.

Глава вторая

1972 г.

«РЕВОЛЮЦИЮ — НА СКОВОРОДКУ!»

Манифестанток, устроивших шумный марш, во время которого они били в медные кастрюли и сковородки, изображали «простых женщин из народа»... На самом деле большинство демонстранток были жительницами фешенебельного района Баррио Альго.

Хуан Кобо, журналист

Нам, в голубых кабриолетах,
в парижских донашиваемых туалетах,
не хватило бесплатного молока!
К черту плебейские ваши декреты
с вашим товарищем президентом!
Заводы и банки потом, а пока
дайте пожрать!

Вот наши зло орущие глотки,
вот наши бедные сковородки,
ах, до чего докатилась страна!
В лавке не сыщешь тухлой селедки,
в век наш безрадостный и короткий
бедным, изголодавшимся нам
дайте пожрать!

Нам в Баррио Альго нечего есть,
на улицы вынесли мы нашу честь,
вы превратили нас в девок продажных!
Несем сковородки наши как крест,
покуда под вами не грянула месть,
декреты и революцию вашу
дайте сожрать!

Глава третья

1973 г., 11 сентября

11 СЕНТЯБРЯ

«Убеждением или силой» — девиз
чилийской республики над воротами
президентского дворца Ла Монеда.

Силу — сильным,
а слабость — слабым,
слабым — в отчаянье компромисс.
Сегодня мы с революцией сладим,
завтра изменим старый девиз.

День этот будут в школах заучивать.
Было б неплохо подправить фасад.
Для нас
куда благозвучнее:
«Патриа и либертад».

Но чтобы закончить победой не пирровой, —
довольно хлопотно убеждать, —
гораздо спокойнее изолировать,
еще надежнее — убивать.

Вот этот день наступил и пробил,
не сомневаемся, кто — кого.
День Молчания был лишь пробой,
Ночь Молчания сменит его.

Глава четвертая

1973 г., сентябрь

СТАДИОН

Нас пять тысяч здесь, в маленькой частице города. Нас пять тысяч. А сколько нас во всех городах страны!

Строки Виктора Хара, вынесенные с Национального стадиона в Сантьяго де Чили.

Эль пуэбло унидо! *

Эль пуэбло унидо!

Нас много. У них Стадион — один.

Мы будем убиты,

убиты,

убиты

за то,

что, убитые, мы победим.

мы победим.

Эль пуэбло унидо!

Эль пуэбло унидо!

Была Ла Монеда, теперь — пантеон.

Но там не учли, что грядут еще битвы,

если страну превратить в Стадион.

В крови, тобою и мною пролитой,

мы революцию — не проглядим.

Эль пуэбло унидо!

Эль пуэбло унидо!

Ты победишь —

значит мы победим!

* Народ един (пер. с исп. — Ред.).

Глава пятая
1973 г., 29 сентября
«Жизнь я любил...»

Предатели генералы, посмотрите
на мой мертвый дом...

Пабло Неруда

Да, это я,
 воскресающий Пабло.
Друзья,
 вы и в смерти мной не забыты.
В Чили моя революция пала,
теперь моя очередь быть убитым.
Чтобы убить, не надо таланта.
Мигель Эрнандес,
 мой мальчик,
 поэт,
в тюремной камере Аликанте
я пел все твои и мои тридцать лет.
Чтобы убить, таланта не надо.
Федерико Гарсиа,
 ты это знал,
когда в августовской роще Гранады
вместо меня расстрелянным пал.
И все же нельзя ни в сердце, ни в теле
наши стихи растоптать и убить,
если живыми мы все же успели
революцию, как женщину, полюбить.
И жизнь я любил, хоть жил в Исла-Негра.
Но если вот эти мне скажут: «Живи!» —
я откажусь от чилийского неба,
покуда под ним мои Анды в крови.

Глава шестая
1973 г., конец сентября

ПИСЬМО К ДЖОАН

Как тяжело дается мне эта песня. Поскольку я вынужден петь о терроре, то я буду петь о сегодняшнем терроре... То, что я вижу сейчас, мои глаза не видели никогда. То, что я чувствовал и чувствую, возрождает во мне...

Последние строки Виктора Хара, вынесенные с Национального стадиона в Сантьяго де Чили.

Ты помнишь еще мои руки, Джоан?
Помнишь, ты их ревновала к гитаре?
Теперь во мне боль не сердца, не ран —
отрубленных рук команданте Гевара.
Руки мои убивали они,
словно тем самым они убивали
песни, которые мы запевали
в нашей стране в досентябрьские дни.
Но не закончились в сентябре мы,
если в кровавых глотках стонал
над Стадионом не страх — «Венсеремос!»,
самый чилийский «Интернационал».
И здесь я за то, что для Чили пропел,
как для тебя, но не ради овадий.
Прости мне, Джоан, что я не успел
с тобой и с гитарой наобниматься.
Над песней моею, Джоан, не рыдай,
гитару возьми и в поруганной Чили,
дома,
в Лонкене,
ее передай
голодному, но грядущему Тилию.

Глава седьмая

ОТ АВТОРА

Что в географии толку!
Америка — не материк.
Мне чудится дальний колокол
и Чили — его язык.

С надеждою в человека,
который услышит, поймет,
в уснувшую совесть века
колокол Чили бьет.

И, чтоб мы забыть не смели
страну и ее Стадион,
над Осло,
над Римом,
над Дели
стоит колокольный звон!
Пусть тело протащат волоком,
завяжут глаза и рот,
но каждое тело — колокол,
звонящий для тех, кто живет.
И мы не напрасно жили
в отчаянье и в борьбе,
если колокол Чили
гудел во мне
и в тебе.

1973—1975

СОДЕРЖАНИЕ

С думой об общем доме. <i>Владимир Матвеев</i>	3
«Были бы живы мать и отец...»	7
«Как я приеду и что я скажу...»	8
«На безмянных полустанках...»	9
«Это родина — синие ставни...»	10
«Где это время? Никто не ответит...»	11
«Ночами незваных бессонниц...»	12
«Прямо в сад выбегали ступени...»	13
«Жизнь мой — та же и голос мой — тот же...»	14
«Самолет выпускает шасси...»	15
Мама	16
Дома	17
Ночью на родине	18
«Я ставни опять не запру на крючок...»	19
«Ставень скрипит на ветру...»	20
«...Еще не весна, но карнизы набухли...»	21
Старики	22
Ходики	23
Коля-Лимба	24
Отрочество	25
Деревенские похороны	26
Гост-реквием	27
Война	28
«Какая горечь — постоять...»	29
Берегиня	30
«Это — осень горит, словно шапка на воре...»	31
«Какая бескрайняя воля!..»	32
Роца в ноябре	33
«Озеро стояло вертикально...»	34
«Я поставил тебя, как икону...»	35
«Я развеял над миром, как пепел...»	36
«Закреть глаза — и в сон, и в сад...»	37
«И локон пепельных волос...»	38
«От одиночества спасала...»	39

«И никого... И снег стоит...»	40
«Какая долгая зима...»	41
Круг	42
«Промываются окна в домах деревянных...»	45
Воспоминание о Твери	46
«В покаянной и горестной повести...»	47
«Значит, надо пройти через это...»	48
Судьба	49
Лейпциг	51
Путь на Итаку	52
«Надо, чтоб что-то осталось...»	53
Колокол Чили (<i>поэма</i>)	54

Александр Иванович Катков

Синие ставни

С Т И Х И

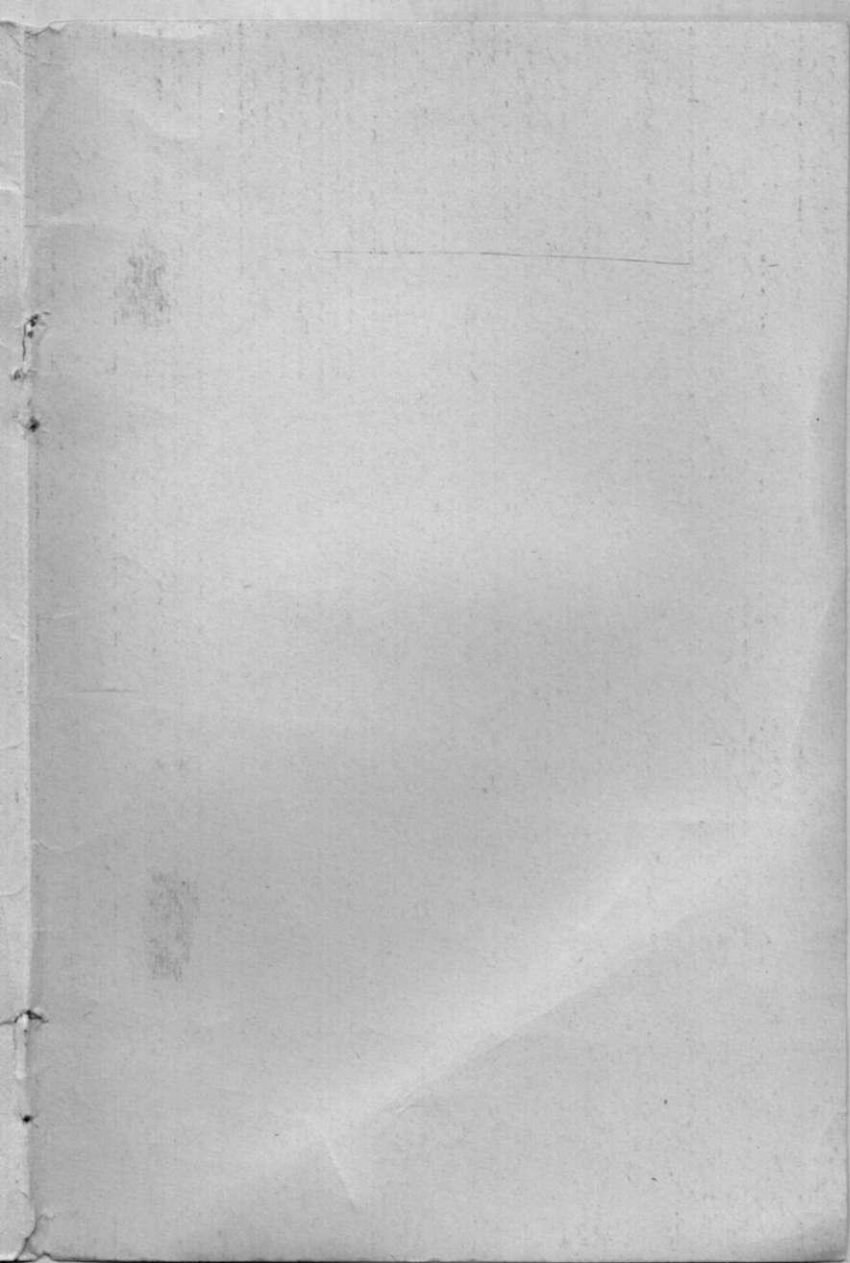
В кассете

«Первый горизонт»

Редактор Т. И. Махалова
Художник А. С. Ротовский
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор Е. И. Тимошук

ИБ № 1070

Сдано в набор 19.02.85. Подписано
к печати 07.06.85. ОП 07282. Формат
70×90^{1/32}. Бумага типографская № 1.
Гарнитура Обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 2,34. Усл. кр.-отт. 2,82. Уч.-изд. л. 1,87. Тираж 4000 экз. Заказ 5637. Цена 20 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.



20 к.

Александр Катков
родился в дер. Зайцево
Ставропольского края,
окончил университет
имени К. Маркса
в г. Лейпциге (ГДР),
работал переводчиком,
преподавателем иностранного языка,
публиковал стихи в периодике,
альманахе «Огни Кузбасса»,
ж. «Сибирские огни»,
сб. «Утро» (изд-во «Современник»),
Живет в Кемерове.



КЕМЕРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО